

NEOCLASSIC
ПОМАН



ЭЛИЗАБЕТ ФОН

АРНИМ



ИСКУПЛЕНИЕ



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44
А84

Серия «Neoclassic проза»

Перевод с английского *В. Агаянц*

Серийное оформление и дизайн обложки *В. Половцева*

Арним, Элизабет фон.

А84 Искушение : [роман] / Элизабет фон Арним ; [перевод с английского В. Агаянц]. — Москва : Издательство АСТ, 2025. — 416 с. — (Neoclassic проза).

ISBN 978-5-17-160052-5

В состоятельном и уважаемом семействе Ботт скандал! После смерти одного из братьев выясняется, что его жена Милли, тихая женщина с безукоризненной репутацией, годами изменяла супругу. Родственники покойного готовы пойти на любые ухищрения, чтобы избежать позора и сохранить тайну адюльтера за закрытыми дверями, но у Милли другие планы на будущее. Страдая от внезапно нахлынувшего чувства вины, женщина сбегает из дома и решает посвятить свою дальнейшую жизнь искуплению грехов...

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-160052-5

© ООО «Издательство АСТ», 2025



Глава I

Милли неподвижно застыла в кресле. Ее круглое бледное лицо не выражало ничего. Взгляд не отрывался от вялых, будто вовсе не принадлежавших ей пухлых рук, которые покоились на обтянутых черным коленях. Так она и сидела, безмолвная, и смотрела на руки, с тех пор как это случилось.

— Приведите ее в чувство, — сказал врач, когда опечаленные родственники Эрнеста обратили его внимание на состояние Милли. Но напрасны были усилия кучки невесток: она оставалась безмолвной, недвижимой и все так же тупо смотрела в одну точку.

— Ей бы поплакать, — говорили друг другу Ботты. — Хорошенько выплакаться — самое милое дело, это всегда помогает.

Но Милли не плакала, ничего не говорила, разве что тихонько шептала своим нежным голоском всякий раз, когда какой-нибудь сочувствующий или соболезнующий родственник гладил ее по плечу или касался склоненной головы:

— Как вы добры...

Да и кто бы не был добр к бедняжке Милли в ее горе? Добры были не только Ботты, но и весь Титфорд. В этом солидном южном предместье Лондона высоко

ценили Боттов, процветавших, успешных в финансовых делах и постоянно преумножавших свое богатство. Они служили оплотом местного общества: вносили пожертвования, председательствовали, произносили речи, разрезали ленточки. В Титфорде было множество Боттов, и каждого из них окружали здесь почетом. Когда им случалось вступать в брак, что они проделывали неукоснительно, достигнув надлежащего возраста, или когда у них рождались дети, что исполнялось так же неукоснительно, стоило им жениться (если не считать Эрнеста, который остался бездетным), Титфорд искренне ликовал; когда же они умирали, что происходило с ними лишь по достижении зрелости и никак не раньше (опять же не считая Эрнеста, чья жизнь оборвалась в дорожной катастрофе), Титфорд искренне скорбел и неподдельно сочувствовал выжившему супругу — как правило, вдове, ибо по странному закону природы утлое поначалу суденышко в итоге оказывалось на удивление крепким.

В этом случае сочувствие было особенно живым, поскольку Милли всегда слыла общей любимицей. Давным-давно Титфорд решил, что миссис Ботт обладает манерами истинной леди, и проникся к ней любовью. Почти двадцать пять лет прошло с тех пор, как бедный Эрнест Ботт привез в особняк из красного кирпича на Мандевилл-Парк-роуд свою молодую жену. Тогда она была совсем еще девочкой, маленькой, худенькой, почти ребенком, и выглядела до нелепости юной рядом с мужчиной едва ли не средних лет, но с самого начала держалась, как и надлежало даме ее положения, и никогда не забывала о своем статусе, невзирая на выходку ее сестры в этом самом доме всего три месяца спустя.

Шли годы, без бурь и невзгод, уютные безупречные годы; сестра больше не появлялась, и о ней забыли,

разве что в глубине сердца Ботты еще хранили воспоминания (они не так-то просто забывали бесчестье), и все мужчины в этом многочисленном семействе считали, что Эрнесту на редкость повезло с женой. Миссис Ботт уже давно не та худенькая девочка. Прочное благополучие, которое сумел обеспечить ей Эрнест, дало свои плоды. Теперь это была дородная сорокапятилетняя дама, низенькая и рыхлая, как пуховая подушка, белокожая, с кроткими глазами, с ямочками на пухлых руках, где у других обычно выступают костяшки, с гладко зачесанными послушными волосами цвета respeitability на аккуратной голове. Вся ее жизнь за исключением той единственной скандальной истории с сестрой — а кто в ответе за поступки родственников? — была безукоризненной. Сплетникам нечего было о ней сказать, критика обходила ее стороной. Милли была радостью и гордостью семьи и всего Титфорда; без причуд, с хорошими манерами, она не отличалась излишней разговорчивостью, никогда не вела умных бесед, но всегда готова была услужить, сделать приятное. Весьма упитанная, нарядно одетая, с приветливой улыбкой на губах, она аккуратно отдавала визиты: поначалу в изящном экипаже, затем в автомобиле. Званые обеды она посещала в бархате, в церковь ходила в мехах или в перьях и раз в месяц принимала у себя. Тепло встречая гостей в красивой гостиной, Милли внимательно слушала, никогда никому не возражала, никогда не умничала, ничего не доказывала, разве что могла мягко посоветовать, но тотчас с улыбкой спешила отказаться от своих слов, если ей казалось, что совет вызвал хоть малейшее неудовольствие.

Вот это женщина! Каким чудесным местом был бы наш мир, если бы все жены больше походили на Мил-

ли, частенько думали Ботты-мужчины (ибо произносить подобные мысли вслух не годилось), когда у них случались неприятности с собственными супругами. Милли не доставила Эрнесту и малейшего неудобства, не омрачила ему жизнь ни на день, ни даже на час. Милая малышка Милли, славная, покладистая! За такую женщину любой что угодно отдаст. К тому же на нее приятно посмотреть: такая она сдобная, домашняя — всем женам в пример. С тощей женой нечего и надеяться на удобство и уют: это все равно что заказать жесткий матрас и ждать, когда спать на нем будет удобно. У костлявой жены кости впиваются в характер, думали те удрученные братья Ботт, чьи жены отличались худобой, а с недавних пор и сварливым нравом. Но сокрушались они втайне. На людях же каждый, как и надлежит мужу, представал любящим и довольным жизнью.

И вот Милли стала вдовой, причем богатой, но ни один из братьев к тому времени не овдовел, чтобы жениться на ней и сохранить ее в семье вместе с деньгами бедного старины Эрнеста. Ее тотчас же умыкнут, едва пройдет год, иначе и быть не может. Какой здравомыслящий мужчина не пожелал бы похитить Милли, даже будь она бедна; не мечтал бы до конца своих дней покоиться на этой нежной, мягкой, пышной, как пуховая подушка, груди и навеки избавиться от раздоров и ругани?

Невестки, размышляя о кругленьком состоянии Эрнеста, возражали: «Зачем ей замуж теперь, когда и так живет припеваючи и может делать все, что вздумается?» Одна из них, обладавшая бурным темпераментом, чем очень гордилась, и постоянно твердившая мужу, когда тот ей прекословил, что он должен на коленях благодарить Господа, ибо женат на настоящей женщине, а не

на вялой курице, заметила: «Не похоже, что в ней есть хоть какой-то задор. Бедняжка Милли не из тех женщин, которым нужен мужчина».

А почтенных лет дама, в чьем доме велись эти разговоры (старейшая из всех, подлинная миссис Ботт, прауродительница семейства, бабушка многочисленных внуков, успевшая обзавестись изрядным числом правнуков и даже готовившаяся стать прапрабабушкой; та, что жила на вершине Денмарк-Хилл, дабы, как она часто говорила, всегда быть в распоряжении всех своих дорогих деток на случай, если она им понадобится, но не настолько близко, чтобы им докучать), задумалась, погрузившись в воспоминания, и лишь медленно покачала головой в ответ на слова жены Джорджа, которая, как ей иногда казалось, больше походила на цыганку, чем на леди, однако предпочла промолчать, поскольку давным-давно усвоила, что в семейной жизни чем чаще воздерживаешься от замечаний, тем лучше. Старой миссис Ботт вспомнилась странная сцена, разыгравшаяся в этой самой комнате десять лет назад, когда Милли, всегда такая тихая и благонаправная, подошла к окну теплым весенним утром (да-да, определенно дело было весной при теплой погоде: старуха ясно помнила, что французское окно было распахнуто и садовник подстригал лужайку, которая превратилась вдруг в покрытое ромашками поле). Какое-то время Милли молча стояла у окна, глядя на пейзаж, затем резко повернулась. В ней произошла какая-то странная перемена: теперь она казалась другой, непохожей на себя, вдобавок ее словно бросило в жар (бедное дитя, после такой-то прогулки!). Она сказала, что чувствует, будто скоро, возможно, уже не выдержит — настолько ей все опротивело.

— Всё, всё! — выкрикнула она громко, словно не могла больше сдерживаться, и нелепым жестом вскинула руки к багровому от долгого пути в гору по жаре лицу, потом вдруг прибавила со слезами на глазах: — Я больше не могу... Я дошла до края...

«До края? — подумала старая миссис Ботт. — Какого края? В жизни так много краев, а в молодые годы мы часто подходим к краю, но лишь убеждаемся, что это и не край вовсе».

Так-так. Она подала тогда Милли чашку чая. Бедняжка Милли. Наверняка, тут замешан мужчина, решила пожилая дама: или это Эрнест — и речь идет о разговоре, — или какой-то другой мужчина и то, что эти несчастные, страдающие, обуреваемые страстями дети называют любовью.

Впрочем, что бы это ни было, оно прошло. Милли больше не упоминала о случившемся и вскоре стала прежней, мягкой: покладистой и всем довольной. В самом деле, всего через какой-то месяц после той вспышки она уже была еще милее, если такое возможно, и благодуще, чем раньше. «Набирается ума, — заключила почтенная дама. — Угомонилась. В жизни так и бывает».

Бедные дети, нередко вздыхала миссис Ботт, размышляя о своем потомстве, тяжело им подчас приходится. Они не знают (и никто не в силах им объяснить, ведь все равно не поверят), что в конце концов все образуется, настанут тихие безмятежные дни, а нынешние беды с высоты прожитых лет покажутся сущими мелочами. Не стоит так сокрушаться, мучиться, терзать свои бедные пылкие сердца — ни к чему это, совсем ни к чему.

И вот теперь, десять лет спустя, Милли осталась одна и, потрясенная, безмолвная, застыла в оцепенении, устремив на колени неподвижный взгляд, и ничто не

могло привести ее в чувство. Она сидела здесь, в спальне, в той самой комнате, из которой вышел Эрнест в свое последнее утро, не подозревая, что уже никогда не вернется назад, а старая миссис Ботт, которую привезли с Денмарк-Хилл на похороны, оставалась рядом с невесткой, пока внизу, в столовой, читали завещание, и тщетно пыталась ее утешить, временами приобнимая дрожащей рукой за неподвижное, покрытое черным крепом плечо, и говорила все, что представлялось ей уместным.

Если бы только это плечо дрогнуло, думала старая миссис Ботт, если бы бедняжка Милли разрыдалась... Но эта неподвижность, безмолвие, застывшее бледное лицо, низко опущенная голова выражали скорбь куда более глубокую, какую не выразить никакими рыданиями. Кто бы мог подумать, что Милли так сильно любила Эрнеста? Старая дама бесстрастно вернулась мыслями к сыну и удивилась.

— Ты ведь знаешь, дорогая, — проговорила она дрожащим голосом, ибо к тому времени ослабла совершенно, — мы позаботимся о тебе: проследим, чтобы ты никогда не оставалась в одиночестве. Девочки (так старая миссис Ботт называла своих дочерей и невесток, которым перевалило за сорок, пятьдесят, а то и за шестьдесят), только и думают, как бы окружить тебя самой нежной заботой. — Опущенные ресницы Милли чуть дрогнули. — И в твоем образе жизни ничего не изменится, дорогая, поскольку Алек говорит (это старший сын почтенной матроны), что Эрнест оказался куда более состоятельным, чем мы могли помыслить (право, я не понимаю, почему мужчины так тщательно скрывают свои доходы), а ты получишь все его состояние и останешься в своем красивом доме, который тебе так дорог.

— Я этого не заслуживаю, — чуть слышно выдохнула Милли.

Что это, слеза? Несомненно, что-то капнуло ей на колени.

— Ну-ну, — продребезжала старая миссис Ботт и опять обняла невестку за плечи (теперь и ее глаза наполнились слезами). — Полно, полно. Никто из нас не заслужил этого больше, чем ты, Милли, дорогая. Ну, будет, будет. Поплачь, тебе станет легче, намного легче.

И она сама всплакнула, самую малость, ибо годы иссушили почти все ее слезы. Но воспоминания о тех днях, когда Эрнест был еще младенцем, всплыли в ее памяти. Сколько было у нее надежд, как гордилась она сыном, как любила накручивать на палец его мелкие светлые кудряшки. Потом он полностью облысел, и вот теперь странно и грустно сознавать, что сын лежит один под траурными венками (прекрасными, конечно, и их так много) на кладбище на холме, и будет лежать там до второго пришествия, и не осталось после него ничего, будто и не жил он вовсе, только вдова да деньги. Эрнест не оставил детей. На семейном древе он оказался мертвой ветвью, глухим тупиком. Странно и грустно больше никуда не идти, вдруг остановиться навсегда. При мысли об этом старая миссис Ботт не сдержалась и заплакала. Бедный Эрнест, все его мелкие светлые кудряшки и большие надежды обратились в прах, осталась одна вдова.

— Это всего лишь сон, — сказала строгая дама, вытирая глаза, и глубокомысленно кивнула. — Жизнь — это просто сон. — Потом, видимо, уловив посторонний запах, она встрепенулась и заметила: — Готова поклясться, сегодня у Гленморгана карри на обед.

Перед мысленным взором почтенной дамы простерлись бесконечной чередой прожитые годы, усеянные

черными точками смертей. Она видела, какими крошечными стали эти точки, как они все съеживались, пока первые не превратились в едва различимые крапинки, так что стало очень трудно разобраться в них, понять, где чья, кто из них кто. Она опять глубокомысленно кивнула и проговорила:

— Все это сны, моя дорогая. В конце концов понимаешь, милая Милли, что это одни только сны. — Ее дрожащая рука еще покоилась на плече невестки, покрасневшие старческие глаза устремили взгляд на дом напротив.

Как странно, подумалось ей, что люди, чьи смерти отмечены точками, стерлись из ее памяти; муж, к примеру, вот уже пятьдесят лет как покоится в могиле, но его образ явственно предстал перед ней только теперь, когда накануне ночью она забыла закрыть крышкой баночку с вазелином. Всю свою взрослую жизнь она каждый вечер перед сном намазывала веки вазелином, но иногда забывала закрыть баночку крышкой. Когда такое случилось и утром бедняжка Александр это видел, то обычно ее бранил: говорил, что разводится грязь и антисанитария, что в мазь попадают микробы и пыль, — припомнила пожилая дама. И вот теперь, стоит ей проснуться утром и обнаружить, что на баночке нет крышки, муж вспоминался необычайно ясно и отчетливо, но только так и не иначе. Как нелепо. Старая миссис Ботт машинально потрепала Милли по плечу и глубоко задумалась о странностях жизни. О бедном Александре напоминает лишь баночка вазелина без крышки — вот и все, что от него осталось.

Она поморгала. Яркие лучи солнца падали на красный дом напротив, слепили глаза. Жизнь и вправду была лишь сном. Из того дома тоже доносился запах еды: на

этот раз преобладал дух цветной капусты, заключила старая миссис Ботт, с любопытством потянув носом. Жизнь — сон, это верно, но случались и моменты пробуждения. До самого конца жизни еда оставалась явью, интересной явью. Уверена, это те чудачки, на которых жаловался Эрнест, подумала она, вздернув нос. Он еще говорил, будто они не едят мяса и вовсю ругают Англию. «Бедняжки, — снисходительно вздохнула почтенная дама, — им приходится такое выдерживать», — и пожелала ради их же блага, чтобы мучения соседей поскорее кончились, ведь они упускают так много славных кусочков баранины, и трудно, должно быть, любить Англию или что-то еще, если набиваешь себе живот одной цветной капустой.

Стоило ей подумать об этом, как дверь спальни открылась и в щель просунулась голова ее младшего сына Берти, плотного, вскормленного мясом мужчины пятидесяти двух лет; осторожность, с которой двигалась голова, не оставляла сомнений, что остальное тело стоит на цыпочках.

— Входи, Берти, и закрой дверь, — продребезжала старая миссис Ботт. — Ни к чему устраивать сквозняк.

— Ты в состоянии, — произнес он приличествующим случаю полупшепотом, глядя на невестку, — выдержать разговор?

— Говори громче, Берти, — надтреснутым голосом распорядилась дама. — Что толку стоять тут и корчить гримасы. В состоянии ли она выдержать разговор? Да, разумеется. Милли всегда в состоянии выдержать что угодно. Разве не так, моя дорогая? — И она опять потрепала обтянутое черным крепом плечо, ибо из всех невесток выделяла эту. Милли нравилась ей больше других, она ее даже любила.

Берти сделал осторожный быстрый шаг за порог комнаты и проворно, без единого звука затворил за собой дверь; в этом искусном бесшумном движении чувствовался немалый опыт и изрядная ловкость, поразительная для мужчины столь крупного и грузного. Это невольно навело старую миссис Ботт на мысль, что ее Берти, возможно, не был верным мужем. Такая сноровка в бесшумном закрывании дверей... Так-так. Бедные дети, им приходится бороться до конца. Оставалось только надеяться, что Берти не слишком беспокоится об этом и не изводит себя угрызениями совести. Когда он состарится, как она, то поймет, что и эти тревоги были лишь сном, а терзаться угрызениями из-за того, что в конце концов обращается в призрачное сновидение, лишь печальная трата времени.

— Моя бедная Милли, — внушительно начал Берти мрачным тоном, словно принес дурные вести.

Выглядел он до странности взволнованным — вернее сказать, глубоко огорченным, решила старая миссис Ботт, окинув сына удивленным взглядом. Он пересек комнату, подошел к креслу невестки, подтянул к себе стул и, сев возле Милли, накрыл ее руку ладонью. На лице его читалось столь явное желание придать ей сил, что изумление матери лишь усилилось. Силы? Зачем они Милли при таком наследстве?

— Завещание уже огласили?

— Видимо, Эрнест был болен, — ответил Берти и неловко откашлялся.

— Болен? — эхом отозвалась мать. — Ты хочешь сказать, когда взял то такси?

— Когда составлял завещание, — отозвался Берти, явно пребывая не в своей тарелке. — Точнее, когда сделал приписку.